

Весна запаздывала. Морозы держались стойко напекор календарю. В марте по ночам еще звонко лопался над озерами и реками лед. Метели бесновались без передышки по нескольку суток. В логах и на косогорах сугробы снега поднимались выше черемуховых кустов. Казалось, что зиме не будет конца.

Но в середине апреля солнце прорвалось сквозь низкое свинцовое небо, и в Улуюлье наступила весна. Под снегом заколобродили неслышные ручьи, потом с яров и гор ринулись в таежные речки потоки талых вод, лесистые заломы и каменистые перекаты огласились буйным шумом вешнего половодья. Неохватная ширь поднебесья покрылась живыми серыми пятнами: то двигались с просторов юга несметные стаи перелетных птиц. И хотя весна запаздывала, все на улуюльской земле происходило так, как и год, и десять, и сто лет назад. Только люди не могли и не хотели повторять прожитого. Весна этого года не походила у них ни на какую другую, пережитую когда-либо раньше...

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В окно громко постучали. Анастасия Федоровна встревоженно взглянула на Максима. Стук повторился. Звон стекла выразительно передал чье-то нетерпение. Анастасия Федоровна быстро встала.

— Кто же это?

— Сиди, Настенька, я открою.

Максим поднялся из глубокого кресла и, направляясь к двери, посмотрел на часы, висевшие над письменным столом. Было два часа ночи.

Анастасия Федоровна проводила мужа взглядом. Шестой день Максим жил дома, и шестой день им не удалось поговорить по-настоящему. С раннего утра до позднего вечера шли родственники, друзья, соседи...

На террасе послышался незнакомый голос, и вслед за Максимом в комнату вошел человек в длинном глянцево-черном плаще. Плащ был мокрый, и струйки воды стекали на пол.

— Распишитесь за «молнию», Максим Матвеич, — проговорил почтальон, осторожно подавая телеграмму с красной наклейкой, обозначающей, что доставить ее надлежало в любое время дня и ночи.

Максим принял телеграмму и по-фронтовому на ладони расписался на отдельном продолговатом листочке.

— Благодарю вас, товарищ. — Он проводил почтальона и вернулся с нераспечатанной телеграммой.

Анастасия Федоровна стояла в такой позе, которая без слов говорила: «Ну скорей же! Не томи!»

Максим развернул телеграмму, прочитал вслух:

— «Областной комитет партии просит вас срочно при-
быть Высокоярск по вопросу вашей дальнейшей работы.
Выезд телеграфируйте. Секретарь обкома Ефремов».

— Да они что там? Столько лет человек воевал, не знал ни сна, ни отдыха, приехал к жене и детям, не успел еще как следует выспаться — и опять куда-то! Нет, нет, это невымыслимо! — Анастасия Федоровна взяла Максима за руку, прижала ее к своему лицу и затихла.

Максим обнял жену, бережно усадил на диван, сел рядом.

За стеной свистел ветер. Упругие струйки дождя стучали в стекла высоких окон. Но как бы наперекор ненастью, стоявшему на дворе, где-то близко с задором горланили петухи.

— Ишь ведь как стараются! — сказала Анастасия Федоровна.

— Хороший солнечный день чувю, Настенька, — вполголоса отозвался Максим.

И они опять замолчали, не решаясь говорить о том, что несла их жизни телеграмма, доставленная в глухой ночной час.

— Значит, едешь? — спросила наконец Анастасия Федоровна.

— Еду, Настенька.

— И когда?

— С первым поездом.

— Утром... — Она опустила голову.

Максим встал, расправил плечи, пригладил густые волосы. Надо бы как-то по-хорошему утешить жену, но нужных слов не находилось. Максим подумал о себе с острым неудовольствием: «Вояка! Разучился говорить с самым близким человеком».

Он прошелся по комнате широкими медленными шагами.

— Это что-то очень важное, Настенька. Ефремов — человек чуткий. Он не позвал бы без крайней надобности.

— Чуткий? По-настоящему чуткий должен был и о твоей семье подумать.

— С государственной вышки виднее.

— Не оправдывай. Ты отвык от нас. Тебе лихо сидеть на одном месте...

Максим сдержался, чтобы не ответить резко, и, помолчав, подчеркнуто спокойно сказал:

— На войне, Настенька, я от многого отвык... А ставить свой покой превыше всего я никогда не привыкал.

Анастасия Федоровна вскочила.

— Что?..

— Ссориться не будем, Настенька.

— Нет, будем! Будем, если ты думаешь, что мы жили тут в свое удовольствие!

— Можно послать Ефремову телеграмму, попросить отсрочку дня на три.

Она поняла, что он делает ей уступку, и с горячностью сказала:

— Ни в коем случае!

Анастасия Федоровна подошла к шкафу с книгами и принялась что-то искать.

Она стояла к Максиму вполоборота, и он видел ее высокий лоб, прямой нос, плотно сомкнутые губы, придававшие ее лицу энергичное, волевое выражение, и мягко очерченный тенью от лампы точеный подбородок. Именно такой — строгой и до бесконечности нежной — виделась Максиму она в долгие фронтовые годы.

— Нашла! — сказала Анастасия Федоровна, выгаскивая из большой книги потерянный листок бумаги. — Возьми и прочитай вслух.

Максим бережно принял из ее рук листок ученической тетради, не узнав вначале своего почерка.

— Читай!

— «Настенька! Все получилось очень глупо, и эту глупость мы должны поделить с тобой поровну. Ты не поняла меня, а я не хотел понять тебя. Ты уехала... И вот теперь, когда тебя нет, я вижу, что, где бы ты ни была, куда бы ни

уносила ты свою гордую душу, все равно ты вернешься, и мы будем вместе. В нашем тяготении друг к другу есть что-то необоримое. Маленькие таежные ручейки, сливаясь воедино, умножают свои силы. Так и мы с тобой. Кто бы ни вставал на нашем пути, какие бы преграды ни двигались перед нами — все рухнет от силы нашей любви. В жизни так много больших, настоящих дел, что, ей-богу, не время размениваться на мелкие чувствешки. Максим».

Анастасия Федоровна и Максим посмотрели друг друга в глаза вначале строго, как бы говоря: «Вот какие мы были!» — потом с нежностью. Эта короткая записка, свидетель их юности, растворила горький осадок.

— Ты помнишь, когда это было написано? — спросила Анастасия Федоровна.

— Еще бы не помнить! Мы поссорились тогда с тобой из-за какого-то пустяка и чуть-чуть не испортили себе всю жизнь.

— Это было, Максим, пятнадцать лет тому назад.

— Ну что ж, я готов подписаться под этим посланием вновь. В нашей жизни, Настенька, действительно было много хорошего, а будет еще больше. Будет!..

Они опять сели рядом. Максим поцеловал жену, взял ее гибкую, сильную руку и не выпускал ее из своей руки.

— Никогда не забуду, Максим, дни боев под Сталинградом. От тебя три месяца — ни строчки. Временами казалось, что тебя уже нет в живых. В такие часы я брала эту записку, и она возвращала мне веру, давала силы для жизни...

Анастасия Федоровна говорила тихо, доверчиво. Максим сидел с закрытыми глазами. И он ведь тоже в трудные часы своей фронтовой жизни перечитывал ее старые письма, черпая в них силы, в которых нуждалась его душа.

Ночь истекала. Дождь прошумел, омыв землю щедрыми струями, и затих, уступая место разгорающемуся рассвету.

Максим Строгов был назначен заведующим отделом промышленности Высокоярского областного комитета партии. Вначале это предложение удивило его. Он имел степень кандидата философских наук и считал себя ближе к пропагандистской и научной работе, чем к хозяйственной деятельности. Максим высказал свое сомнение первому секретарю обкома Ефремову. Тот принялся горячо разубеждать:

— Именно потому, что вы философ и пропагандист, мы и решили выдвинуть вас на этот пост. Нам нужен не хозяйственник, а партийный работник, тем более что у вас за плечами опыт секретаря горкома, директора политехнического института, командира полка. Что же касается специальных вопросов, то вы их освоите в процессе работы. Главное в промышленности у нас — лес. Центральный комитет партии и правительство серьезно критикуют нас за состояние лесной промышленности. Перспективы же для развития этой отрасли хозяйства в нашей области безграничны. Думается, что вы сумеете повести дело энергично, с учетом наших больших возможностей.

Ефремов вопросительно посмотрел на Максима, и глаза его, затаив добрую усмешку, говорили: «Да ты же согласен, я вижу, что согласен, и зря тянешь, зря упрямишься».

— Ну что же, обкому виднее, какую работу мне дать, — сказал Максим.

— Вот это по-партийному.

— Когда приступить к работе?

— Как можно скорее. Местами уже начался сплав. Кроме того, Центральный комитет и правительство приняли решение о разворачивании в нашей области новых леспромхозов. Работу эту надо начинать без промедления.

Помолчав, Ефремов заговорил другим тоном:

— Обком не забудет, что вы не отдыхали. Ордер на квартиру можете получить сегодня же. Телеграфируйте семье о переезде. Жену вашу также не оставим без дела.

— Я хотел бы, Иван Федорович, прежде всего выехать в районы, посмотреть, как живут люди. Не хочется начинать работу с кабинета.

— Поезжайте. Советую в Притаежный район. Там у нас крупный леспромхоз «Горный». Кстати, и брата по-видаете. Вы еще не виделись с ним?

— Несколько лет не встречались.

3

И вот Максим ехал в Притаежное. Снег недавно стаял, и земля курилась под солнцем розоватой испариной. Лес не успел еще зазеленеть и стоял голый. Поля были бурными, неудобными. Зеленели только бугры да загоны озимых.

Дорога в Притаежное пролегла через лога, холмы, речушки, сердито бурлившие под старыми непрочными мостами. Ехали осторожно.

— Тут справедлива поговорка: «Тише едешь — дальше будешь», — говорил Максим, сидя рядом с шофером.

Связь Высокоярска с Притаежным районом поддерживалась преимущественно речным путем. Летом на пароходах завозили в район товары, горючее, машины. Почта доставлялась либо самолетами, либо на автомобилях, а в распутицу на лошадях.

На половине пути от Высокоярска до Притаежного машина Максима нагнала одинокого путника. Он шел не торопясь, не по дороге, а возле нее (там меньше было грязи), опираясь на суковатый посох. Заслышав рокот мотора, он оглянулся, но не остановился, не поднял руку, а продолжал шагать дальше.

— Вы смотрите, Максим Матвееч, какой гордый, даже подвезти не просит, — заметил шофер.

— А он сейчас на Талиновский выселок свернет, — сказал Максим.

Но человек с посохом в сторону не свернул, а продолжал идти по большой дороге.

Когда машина обгоняла человека, Максим оглядел его. Это был высокий сутулый старик. Морщинистое лицо его обросло кудрявой длинной бородой. Ветер трепал седины, ерошил их.

— Надо все-таки подвезти!

Старик охотно принял приглашение. Он снял с плеч котомку, расстегнул суконное пальто и, втолкнув вначале посох, залез на заднее сиденье «эмки».

— Спасибо, добрые люди, а только я бы и своими ногами дошел, — сказал старик певучим голосом.

— А ехать все-таки лучше, папаша, — засмеялся шофер.

— Конечно лучше, но и дойти можно, — убежденно сказал старик.

— Вы что же, местный или откуда-нибудь приехали? — спросил Максим, когда старик отдышался.

— Сейчас я издалека, а в прошлом был местный.

— Когда это — в прошлом?

— Из этих мест я ушел ровно сорок лет тому назад, а пришел сюда шестьдесят лет назад. И до того я жил на свете двадцать лет.

— По виду вам столько не дашь.

— На здоровье пока не в обиде. А все же всему есть мера.

Старик замолчал. Максим обернулся и увидел, что выцветшие глаза его спутника стали грустными.

— А кто вы будете, добрые люди? — оживляясь, спросил старик.

Максим сказал, что едет в Притаежное из Высокоярска по заданию обкома партии.

— От власти, значит, по государственным делам едете, — сделал заключение старик и, помолчав, усмехнулся. — Раньше я от властей хоронился, теперь с властями в одной машине еду.

— Вы, вероятно, из беглых каторжан были? — спросил Максим.

— Из них, добрый человек... Такое дело было. Служил я у тамбовского помещика Гранова. А у помещика

жил в Петербурге сын — поручик. Что отец, что сын — не люди были, а звери. Как приедет сын к родителям на побывку, нашим девушкам житья нету. Обесчестит и бросит. Две наших девушки руки на себя наложили. Затаил я лютую злобу против молодого Гранова, стал сам не свой. А тут, как на грех, приезжает он опять и велит прийти вечером в хозяйский сад Марфуше. А у нас с ней все уже договорено было: собирались осенью обвенчаться. Ну, идет Марфуша в сад, а я уже там в кустах прячусь. В тот вечер и порешил его. Поймали меня, судили. Дали десять лет каторжных работ и вечное поселение на Сахалине. Марфуша пошла за мной. Не доходя до Томска, сбежал я. С той поры до семнадцатого года исколесил всю Сибирь. В двенадцатом году попал на Ленских приисках под расстрел, пули вокруг свистели, в трех местах одежду продырявили, а сам остался цел и невредим. Пока царское лихолетье было, двадцать фамилий переменял. Каких только кличек не носил: Залетный, Косач, Червонный, Петух, Скряга! Когда прогнали царя и богачей, вернулась ко мне родительская фамилия, стал я опять Мареєм Добролетовым, с той поры на севере обитался, людям новые тропы торил.

Максим слушал затаив дыхание. Трудно было поверить, что одна человеческая жизнь может вместить столько лиха.

— А как дальше жить думаете? — спросил Максим.

— Похожу, посмотрю, добрый человек. Свое гнездо вить не стану. Долго ли жить-то осталось? Дела вот кое-какие управлю — и на покой, годы мои немалые.

— А какие же у вас дела могут быть?

— Есть кое-какие дела, есть, — уклонился от прямого ответа старик и попросил шофера: — Остановись, добрый человек, у свертка. Вам прямо, а мне налево.

— А память у вас хорошая. Даже повороты на дороге помните! — удивленно воскликнул Максим.

— Да ведь как их забудешь, если сам тут все тропы торил, — объяснил старик. — Лесок вот местами гуще и выше стал. А так мало что изменилось. Местность, добрые

люди, меняется от человека. А человек, видать, рук своих тут еще не приложил.

Машина нырнула в лог, с ревом поднялась на косогор и остановилась.

— Вот и сворот твой, дедушка, — сказал шофер.

Старик вылезал из машины долго и неловко. Он был такой большой, что в дверцах «эмки» ему пришлось сгибаться почти вдвое.

— Сто коробов вам добра и счастья, добрые люди! — почти пропел старик, выйдя наконец из машины.

— Счастливой дороги, отец! — от души пожелал ему Максим.

4

Не доехав до Притаежного километров сорок, машина свернула в сторону. Здесь неподалеку от тракта был расположен один из крупных леспромхозов Улуюлья — «Горный».

«Думаю, что секретарь райкома Артем Матвеевич Строгов не будет на меня в особой претензии за проникновение в низы „без ведома районных властей“», — с усмешкой подумал Максим.

За годы пребывания в армии Максим отвык от «гражданки», и теперь ему хотелось без всякого промедления столкнуться с жизнью, посмотреть, как живут простые люди, узнать их думы. Кроме того, места, лежавшие от тракта к востоку, к реке Горной, были знакомы Максиму по детству и юности. Здесь он бывал с отцом на охоте в чернотропье (со второй половины сентября до снегопада). Но особенно часто Максиму приходилось бывать в селах и деревнях Улуюлья, когда он работал инструктором уездного комитета комсомола.

Дорога от тракта к леспромхозу шла через лес. Снеговые воды размыли колею, обнажили корни кедров и сосен. Машина часто подпрыгивала, остервенело гудела, колеса то и дело буксовали, яростно разбрызгивая грязь.

Максим сидел молча, и казалось, что он не замечает всех неудобств пути. Жадно всматривался он в распадки, поросшие густым кедровником, прислушивался к шуму, с которым катились через перекаты и валежник ручьи.

Все тут стало теперь как-то по-иному: проще и обыкновеннее. Суковатые, в два-три обхвата дерева, поражавшие тогда его своей высотой, будто вросли в землю. Неподступные хребты тоже как бы уменьшились. Максим пожалел, что этот лес, эта дорога, это небо не вызывают в нем прежних чувств. Правда, был один момент, когда он как бы перенесся в детство: машина пересекала лог. По берегам ручья, протекавшего в логу, буйно рос черносмородинник. Объезжая рытвину, шофер направил машину в кустарник. Под колесами захрустели ломкие ветви смородины, и воздух наполнился густым терпким запахом. Запах этот был родным и близким Максиму. Ему живо представилось, что вокруг не весна, а осень. Деревья уже подернулись багрянцем, небо опустилось и стало свинцовым. Он, Максимка, идет по лесу. Впереди бежит собака, она обнюхивает деревья и землю и, поглядывая на него, увлекает все дальше от стана. День уже клонится к вечеру, а он с утра еще ничего не ел. Он заходит в смородинник. Терпковатый, вкусный запах разжигает аппетит. В мешке, перекинутом через плечо, лежит кусок черного хлеба. Он вытаскивает хлеб, подходит к кусту, усеянному гроздьями ягод, и ест их с хлебом.

Автомобиль подпрыгнул, налетев на пенек. Максим подскочил на сиденье, втянул голову в плечи, опасаясь удара.

— Ну и дорога, ни дна ей, ни крыши! — выругался шофер. — Как они тут только в ненастье ездят? Вы их пристыдите хорошенько, Максим Матвееч.

— Придется.

Через полчаса показались разбросанные по берегу реки тесовые крыши домов Веселого. Повсюду топились бани. Дымок курчавился над ними и расползался по земле, разнося приятный, горьковатый запах смолы и жженого кирпича.

Солнце перед закатом побагровело. Окна горели жарким огнем. Пылающими пятнами был подернут кедровник, тянувшийся сплошным массивом от Веселого до Притаежного по берегам реки Большой — около шестидесяти километров.

— В контору поедем, Максим Матвевич? — спросил шофер, когда машина покатила по широкой улице села.

— В конторе едва ли мы кого-нибудь захватим. День субботний.

— Куда же поедем?

— А вон домик с тремя белыми наличниками, подверни к нему.

— У леспромхоза, Максим Матвевич, наверняка заезжая квартира есть.

— Уж как-нибудь обойдемся без нее.

Шофер вопросительно посмотрел на Максима, но его намерений не понял. А Максим думал: «Любопытно, очень любопытно посмотреть, как живут сейчас наши люди. О чем думают? О чем говорят? Какие заботы их занимают?»

Хозяйка дома встретила Максима на крыльце. Это была немолодая женщина с полным приветливым лицом, сохранившим румянец на щеках. Голова ее была повязана белым платком не по-старушечьи — клиньями, а вокруг головы — так повязывались раньше молодые сибирячки в первые два-три года замужества.

— Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, заночевать у вас можно? — обратился к женщине Максим.

— Заночевать? Можно, можно! Милости просим, — радушно проговорила хозяйка.

Из дому вышел широкоплечий, плотный мужчина, босой, в рубашке с расстегнутым воротником, без пояса. Черные волосы его были еще мокрыми и нерасчесанными, а смуглое, словно прокаленное лицо покрыто бисерными капельками пота. Видно, он только что вернулся из бани.

— Переночевать товарищ просится, — сказала женщина, взглянув на мужа.

— Зови. Дом большой.

И, осмотрев Максима с ног до головы, пригласил сам:

— Заезжайте, товарищи. А вы откуда будете, из района или из области?

— Из области, по делам едем.

— Проходите, а я побегу ворота шоферу открою. — Женщина легко сбежала по ступенькам крыльца.

Максим вошел в дом. Хозяин провел его во вторую половину и указал на стул:

— Располагайтесь тут, товарищ.

Он торопливо вышел куда-то, оставив Максима одного. Максим осмотрелся. В комнате было чисто и уютно, и он невольно оглядел себя — не принес ли на одежде дорожную грязь.

Кроме широкой кровати с высоко взбитой периной и деревянного дивана, в углу стоял большой письменный стол, а над ним полки, заставленные книгами. Вся стена напротив окон была увешана фотографиями, вставленными в рамки под стекло.

Выше, над фотографиями, висел цветной портрет Ленина, оправленный нарядной золотистой рамкой с фигурной резьбой.

Максим давно, еще до войны, заметил эту трогательную особенность людей колхозной деревни: вывешивать портреты Ленина и руководителей партии и государства вместе с семейными фотографиями.

Максим подошел ближе, принялся рассматривать фотографии. За несколько минут он узнал, что хозяин дома служил в царской армии, имел Георгиевский крест, потом воевал в рядах Красной армии, был участником двух окружных съездов потребительской кооперации, учился на областных курсах работников лесного хозяйства.

Два больших портрета, висевших с правой стороны, особенно привлекли внимание Максима. Открытые юношеские лица, такие же большеглазые и чернобровые, как у отца, смотрели в упор с доверчивостью и добродушием. «Сыновья», — подумал Максим.

Юноши были в обычной красноармейской форме: гимнастерка со стоячим воротником, погоны, широкий ремень. За годы войны на фронте Максим встречался с тысячами таких людей. Он понял, что они не одногодки и боевая судьба у них тоже была неодинаковой. Старшему пришлось горше, тяжелее. Глаза его были полны страдания. «Этот видел и смерть, и ужасы войны, и путь его по военной дороге был нелегким», — подумал Максим.

Вошел хозяин.

— Не желаете в баню сходить? Воды и пару на десятирých хватит. Баня у нас новая, чистая, — добавил он, видя нерешительность Максима.

Вначале Максим хотел отказаться, но, вспомнив, что торопиться ему сегодня некуда, а в деревенской бане он не был уже лет пятнадцать, согласился.

— Идите. Шофер уже в бане.

— Это ваши сыновья? — спросил Максим, кивнув на портреты.

— Да. Этот старший — Семен. Всю войну от начала до конца прошел. Танкист. Герой Советского Союза. Три дня до победы не дожил.

— Боевая у вас семья!

— Да я и сам послужил!.. В Первую мировую три года, в Гражданскую три года и два года в Великую Отечественную!

— Сколько же вам лет?

— Пятьдесят два года.

— Афанасий, приглашай гостя в баню, — слышался голос хозяйки.

— Идем, Саня, идем. А вы, видать, тоже немало послужили? — взглядывая на орденские ленточки на кителе Максима, спросил хозяин.

— Было, все было, — отозвался Максим.

Когда Максим через час вместе с шофером вернулся в дом, на столе, накрытом свежей белой скатертью, шумел медный самовар. От вареной картошки в эмалиро-

ванной глубокой миске шел вкусный парок. На тарелках — соленые грузди и рыжики, огурцы, помидоры, и такие на вид свежие, словно только что снятые с грядки. На концах стола — два пузатых стеклянных графина.

Один, темно-вишневый, графин не озадачил Максима. Там была водка, настоенная на сушеной черной смородине. Но что было в другом? Даже на взгляд чувствовалось, что эта золотисто-прозрачная жидкость плотнее и тяжелее, чем настойка.

«Заехали просто переночевать, а стали гостями», — мелькнуло в голове Максима, и он тут же вспомнил Европу, где провел два с половиной года. Там он видел жизнь многих народов. Он мог бы немало рассказать о гостеприимстве трудовых людей, которых встречал на берегах Дуная, Вислы, Одера. Но тут было русское гостеприимство, свое, родное. Оно трогало и по-особому западало в душу.

Когда хозяин с хозяйкой начали приглашать Максима и шофера за стол, Максим сказал:

— Вы нас встречаете как гостей. Давайте познакомимся. Иначе как-то неудобно. Меня зовут Максимом Матвеевичем. А вас?

— Фамилия наша Чернышевы. Жену мою зовут Александрой, а по батюшке Степановной, а меня Афанасием Федотычем, — ответил хозяин.

Потом представился шофер, назвавшийся Федей. Знакомство дало повод для первого тоста. Выпили с воодушевлением все, что было налито в рюмки.

— Закусывайте, пожалуйста, хорошенько, — угощала хозяйка. — Люди мы лесные, у нас поэтому и пища лесная. А вы, Максим Матвееч, в грибочки-то подлейте кедрового масла, у них сразу вкус другой будет...

Александра Степановна подала Максиму тяжелый графин. «Так вот это что! Кедровое масло!» — вдруг обрадованно подумал Максим.

— У вас что же, маслобойка в селе? — с интересом спросил он, наливая в свою тарелку масло и любуясь его янтарной прозрачностью. Казалось, что масло было пронизано солнечным светом.

— В том-то и дело, что маслобойки нет. Кедровников много, и ореха собираем немало, а маслобойку построить не можем. Это масло я простым жимом в кадке отжал.

По тому, с какой горячностью все это сказал Чернышев, Максим почувствовал, что для хозяина этот вопрос был, как говорят, «наболевшим».

— Возможно, нерентабельно маслобойку строить? — осторожно усомнился Максим.

— У безруких людей все нерентабельно! — воскликнул Чернышев. — Дело это верное и доходное, да только начальство у нас в районе нерасторопное. Посудите сами: при среднем урожае в наших кедровниках можно шутя собрать полторы-две тысячи тонн ореха. Даже при простом отжиге каждая тонна худо-бедно дает пять-шесть пудов первосортного масла.

— И то в разум возьмите, — вступила в разговор хозяйка, — растет себе кедр, и ни корма, ни поила ему не надо. Одну чистую пользу людям приносит! Уж не благородное ли растение?!

— Да разве богатство только в орехе? — опять заговорил Чернышев. — А само дерево? Ему же цены нет! Кедр хорошо клеится, полируется, спиртуется, гнется. Саня, — вдруг обратился Чернышев к жене, — принеси из кладовой образцы, покажем товарищам.

— Потом, Афанасий, после чаю, — попыталась удержать мужа хозяйка.

— Принесите, пожалуйста, сейчас, — попросил Максим.

Александра Степановна вышла и быстро вернулась с большой корзиной, наполненной полуметровыми чурочками толщиной в десять—пятнадцать сантиметров.

Чернышев придвинул корзину к себе. Вынимая чурочки, он пояснял:

— Вот смотрите, дорогие товарищи: это кедр, склеенный с березой. Чем хуже дуба? Мебель из таких сортов до Москвы бы дошла. А это кедр, проспиртованный на горячих парах. Крепостью не уступит самшиту. А вот гнутый кедр после распаривания в кипятке. Это полирован-

ный кедр. Это кедр в лаке. Не дерево, а настоящий король лесов! — поблескивая черными глазами, воскликнул хозяин.

Максим внимательно осмотрел куски дерева и, сложив их в корзину, спросил:

— Вы что же, для себя эти образцы изготовили?

— Давно лесами интересуюсь. От родителя это пошло. Он у меня по столярному делу был большой мастер. Я, правда, по-настоящему этого дела не постиг, а леса любил. Двадцатый год лесообъездчиком здесь служу.

— Они тут с директором леспромхоза хотели столярные мастерские развернуть, да получили по носу, — со смешком вставила Александра Степановна.

— Ты подожди, Саня, не забегай, я все по порядку сам расскажу. Вы случайно не знаете Воскобойникова Петра Петровича? — обратился Чернышев к Максиму. — Нет? Это директор нашего леспромхоза. Он тоже к лесам равнодушный человек, вроде меня.

Задумали мы с ним организовать при леспромхозе цех деревообработки. Он написал в область подробную докладную записку, а мне поручил подготовить комплект образцов дерева. Материалы — спирт, лак, клей — Воскобойников выписал в достатке. Через недельку-другую я подготовил все образцы, мы сколотили ящик, упаковали их и отправили в область. С месяц из треста не было никакого ответа. Вдруг как-то раз встречаю Петра Петровича. Вижу, приуныл он. «Ну, говорит, Афанасий, и дали же мне за твои образцы!.. Получил, говорит, такой нагоняй, что в другой раз об этом деле писать не захочешь». Вытаскивает он из кармана конверт, подает мне бумагу, говорит: «Читай!» Читаю я: «Ваш леспромхоз не всегда выполняет государственный план по основным видам работы, а вы, вместо того чтобы лучше руководить хозяйством, занимаетесь ерундой. Создавать цех деревообработки в леспромхозе „Горный“ нецелесообразно уже по одному тому, что нет путей сообщения. Присланные образцы строительного материала будут использованы на выстав-

ке треста, организуемой к областной партийной конференции».

— Значит, образцы все-таки не пропали зря! — засмеялся Максим.

— Как видите. После этого случая советовал я Петру Петровичу написать в министерство, но он заколебался. «Мне, говорит, неудобно, я все-таки человек, подчиненный тресту, и должен выполнять его указания». Я написал письмо в Притаежное секретарю райкома. Но по правде сказать, доброго ничего не жду. В районе у нас только и разговоров: «Лен, лен!» Будто на нашей территории других богатств нету!

— Ну а как дела в леспромхозе?

— Помогает государство! Давно ли война кончилась, а они уже тракторов, электрических пил наполучали, узкоколейную дорогу по участкам сейчас прокладывают. Воскобойников шутит: «Мы, говорит, коммунистический остров в таежном океане». И правда! В леспромхоз приедешь, как в другое государство: электрический свет, автомобили, радио. А только и им нелегко работать в таежном океане. Чуть за леспромхоз выйдешь — и утонул в бездорожье. Может быть, вы там близко к областному началству, так похлопотали бы за наш район. Хоть и числится он в газете по сводкам на первом месте, а богатства его еще не тронуты.

Чернышев с большим увлечением начал рассказывать о запасах древесины, о пушных богатствах тайги, о неиспользованных промысловых угодьях. Знал он все это хорошо, не раз, по-видимому, про себя подсчитывал, какой доход получит район, если его богатства разумно направить на пользу людей.

— А что, Афанасий Федотыч, вы могли бы все свои соображения изложить на бумаге? — выслушав Чернышева до конца, спросил Максим.

— Писал я уже райкому. Две ученические тетради на свои ученые труды затратил, — не без иронии сказал Чернышев.

- Напишите еще раз. Теперь уже для обкома.
- Для обкома партии?
- Да.

Утром Максим отправился на лесоучастки. Вместо двух-трех дней он прожил в Веселом больше недели.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Мареевка стоит на крутом берегу реки. По всему Улуюльскому краю нет яра выше Мареевского. Осенью, в малую воду, когда река обмелеет и на перекатах выступят островки и песчаные косы, от основания яра до его верхней кромки так высоко, что взглянешь туда — шапка с головы упадет. Голубовато-серая стена с красно-бурой прослойкой возвышается над рекой, как бастион, преграждая путь резким, дующим откуда-то из заречья ветрам.

С яра хорошо виден весь прямой плес, от верхнего изгиба реки до ее нижнего крутого поворота. Пароход ли, катер ли появится, или рыбак на лодке выплывет — мареевцы вмиг их заметят. Люди в лодке будут еще целый час подбираться к пристани, преодолевая страшные круговороты и заводи с обратным течением, а мареевцы опознают уже путников и, усевшись на бревнах, в неторопливых разговорах станут поджидать их.

Яр — излюбленное место мареевцев. С утра до ночи здесь то ребяташки, то молодежь, то пожилые охотники и рыбаки. Недреманным оком смотрит Мареевка с этого высокого яра на обширный Улуюльский таежный край...

Воскресенье. Утро. Река не шелохнется. Кажется, что покой сковал ее воды и они не текут больше. Улицы Мареевки, протянувшиеся вдоль реки, пустынные, а на яру уже людно.

У самого обрыва на бревнах сидит парень с гармонью в руках. На нем поношенные, полинявшие солдатские

брюки и гимнастерка. Большие узластые ноги босы. Он не спеша разводит мехи, гибкие пальцы его скользят по белому гляncу ладов, по голубоватым перламутровым пуговкам басов. Спеть бы!

Да, хорошо бы спеть:

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк,
Гармонь твоя стонет и плачет.

Но спеть он не может — нет голоса. На войне парень был контужен, и с тех пор не возвращается к нему дар речи. Эх, разве заменит гармонь живой голос?! Но все-таки...

Парень склоняется к гармонии, пальцы его напряжены, лицо сосредоточенно; весь его вид таков, словно он хочет, чтоб гармонь заговорила вместо него человеческим голосом: «Ну говори же, говори!» Нет! Звенит гармонь, рассыпает над рекой тонкие, прозрачные переборы, а заговорить словами не может.

Звуки гармонии разносятся по деревне, волнуют кровь в молодых сердцах. На берег торопятся двое парней. На них шевиотовые костюмы, желтые штиблеты, вышитые рубашки, всю войну пролежавшие в сундуках.

— Привет, дружище Станислав! — говорят парни гармонисту.

Гармонист сжимает мехи, кивком отвечает на приветствие парней. Ветерок, долетающий с просторов луга, шевелит рыжий чуб на крупной голове Станислава.

— Ты что ж не на пасеке? — спрашивает гармониста один из парней.

Тот снимает руку с перламутровых пуговок басов, ожесточенно трет ладонью мясистое, в бронзовых конопатинках, вспотевшее от напряжения лицо.

— А, ясно — приходил в баню! — догадываются парни и садятся на бревна рядом с гармонистом. — Сыграйка нам про матроса, который тоскует по милой. Мы подпоем, — просят парни.

Гармонист согласно моргает глазами, трогает гармонь, и она выводит мелодию, полную тоски и гнева. Парни, обнявшись, поют. Один — солидным баритоном, другой — звонким, как колокольчик, тенорком.

Нет, не усидеть на месте от такой песни, будь хоть по горло завален работой! Не проходит и получаса, а на яру уже пестреет толпа. Станислав окружен плотной стеной ребятишек и молодежи. По лбу его скатываются крупные капли пота, и пальцы, немея от усталости, извлекают неверные звуки.

— Спасибо тебе, Станислав, за почин! Отдыхай! На смену пришли новые гармонисты.

В разгар пения кто-то вспомнил:

— Жалко, нету Ули Лисицыной. Без нее наш хор как птичий мир без соловья!

— Послать бы за ней кого-нибудь из ребятишек.

— Сама прибежит.

И опять над рекой слышится дружное пение, перекрывающее все звуки, живущие сейчас под солнцем: шелест речных вод, трели жаворонков, свист ветра под крыльями птицы, жужжание шмелей.

Песня уносится вдаль, к становьям рыбаков и охотников, приютившимся по берегам озер, рек, ручьев неохватного взором Улуюлья.

Вдруг слышится громкий возглас:

— Стой, ребята! Чудо!

Обрывается песня на полуслове, гармонист снимает пальцы с ладов, не дотянув такта. Все озадаченно смотрят друг на друга, озираются. Первые мгновения никто ничего не понимает. Потом все поворачиваются к реке.

По ступенькам на яру подымается высокий костистый старик. Ветерок играет его длинной седой бородой, ворошит кудрявые волосы. В руке у старика посох. Он так отполирован, что отливает блеском, будто покрыт лаком. Видно, немало походил с ним старик по белому свету. Одежда на старике не новая, но и не ветхая: сапоги с длинными